

Григорий Померанц

Чужое горе

Чужое горе – оно, как овод.
Ты отмахнешься, но сядет снова.
Захочешь выйти, а выйти поздно.
Оно – горячий и мокрый воздух.
И как ни дышишь, всё так же душно.
Оно не слышит. Оно – кликуша.
Оно приходит и ночью ноет.
А что с ним делать? Оно – чужое.

(Илья Эренбург)

Первый укол чужого горя я испытал зимой 1933-34 гг. Подошли каникулы, и я поехал навестить маму. Ее театр гастролировал в Коростене. В Киеве у меня пересадка. Но у выхода на перрон, прямо в дверях, лежала женщина, судя по одежде – крестьянка. Кругом шли люди, привыкшие к голодным, потерявшим силы, и не обращавшие на нее внимания. Но мне надо было переступить через нее. Если она не поднимется или хоть подвинется. Я растерянно стоял и смотрел в ее бледно-голубые глаза. И глаза молча ответили, одним движением век: что делать, паренек, тебе ехать надо... Я осторожно переступил через нее и пошел на пересадку.

Прошло больше 70 лет. Я забыл, какие в Коростене сыграны были спектакли, какие роли сыграла мама. Помню только усталые бледно-голубые глаза. Они смотрят на меня и сегодня.

Ничего от меня они не требуют, но в меня все глубже и глубже входит причастие чужому горю. Сперва остро запоминались только живые встречи. А потом, – ударом по старой ране – и от газетных сообщений.

Но прежде – живая память. Встает перед глазами коридор ИФЛИ. Рыдает дочь доцента Лесника. Ночью его забрали. Хочется подойти утешить, но я не умел это делать. Подошел другой студент. Осталось мучительное чувство беспомощности.

И еще одна сцена тех лет. Исключают из комсомола Агнессу Кун за потерю бдительности в отношениях с отцом, матерью и мужем. На бюро подруги пытались предложить другую формулировку – притупление бдительности. Я готов их поддержать. Но за ночь девочки передумали и стали сознательнее. А я с Агнессой не перемолвился ни одним словом, у меня не было аргументов. Впрочем, тут аргументы не помогли бы. Уходя, я вслух сказал, что охотнее голосовал бы за избрание Агнессы в комитет ВЛКСМ. Сосед с ужасом посмотрел на меня.

Через год – заседание кафедры русской литературы. Обсуждается моя курсовая работа: «Величайший русский писатель». Аспирант Шамориков берет слово: «Если даже Горький ошибался, нам об этом не следует говорить». Я чувствую, что задыхаюсь от возмущения, не могу ничего сказать и выхожу с заседания, хлопнув дверью. Кафедра признала мою курсовую работу о Достоевском антимарксистской. Спецчасть

выясняла, что я за чудака. Установлен тайный надзор.

Пропускаю батальные сцены, описанные в «Записках гадкого утенка». Весна 1944 года. Я шел куда-то по степи. На перекрестке толпа, в центре ее табуретка. На табуретке немец стиснувший зубы. Вышел приказ, что поджигателей деревень надо вешать. Ни одного поджога я не заметил. Ландзеры уходили весело. Армия без боя сокращала фронт. Хозяйка запомнила частушку, которую они распевали:

Прощай курки, прощай яйца,
До свидания, хозяйки.
Прощай млеко, прощай вино,
До свиданья, Украина!

Но под приказ Сталина можно подвести любого замешкавшегося солдата. Почему-то решили вешать его на перекрестке. Там не было никакого дерева, и толпа гоготала, радуясь затянувшемуся зрелищу. Что-то изменилось в лицах, которые я видел после боя. Тогда в каждом чувствовался хмель победы. Я сам, придя со своим блокнотом и карандашом, как-то захмелел и побежал вместе с солдатами в атаку на село Калиновку, за которую немцы зацепились, отдав линию Вотана, да так и провоевал весь день. Когда стемнело, а хмель продолжал бродить во мне, я сдал команду майору из штаба дивизии, а сам зашел в соседний батальон и стал говорить и делать глупости, о которых уже рассказывал в «Записках гадкого утенка». Но вот что я в «Записках» не продумал. В бою человек хмелеет, но пока смерть со всех

сторон, разум тоже возбужден, он напряженно бдителен и ограничивает хмель. Я в тот день, в октябре 43-го, довольно толково действовал и вполне справился со своей ролью импровизованного командира. А когда бой стихает, остатки хмеля вырываются когда в ком и когда в чем. У одного в авантюрах, у другого в убийствах врагов, сдающихся в плен, и других насилиях. Моя авантюра кончилась благополучно, но вполне могло и не повезти.

Этот незначительный случай я несколько раз вспоминал, когда война вошла в Германию; после всех потерь, после всех нервных надрывов, – вы оказались в логове зверя, расписанного пропагандой сплошным черным цветом. Тут хмель вырастает до масштабов цунами и происходит то, что Ионеско описал как превращение людей в носорогов. Я сам, проходя мимо черного щита с надписью «Германия», почувствовал в себе что-то носорожье. Но через день, на задах какой-то фермы, я увидел обнаженный труп девушки лет 16–17. Ум, набитый словами о зверствах фашистов, попытался построить подходящую фразу, но остановился на полдороге. Это не они. Это наши наделали. Захватили какую-то медсестру из фольксштурма (гражданского населения там не было), – захватили, раздели, изнасиловали и убили. Образ сплошь черной Германии был сразу смыт. Все заповеди стали на место.

Этот единичный случай в октябре 1944-го, в самом восточном углу Восточной Пруссии, был прививкой человечности. Меня она сразу вернула к самому себе. Но я уже был самим собой. Создать

армию из сложившихся интеллигентов никому пока не удавалось. Чудо-богатыри, ошалев от рукопашного в стенах Измаила, не послушались Суворова, кричавшего – брать пашей в плен! Всех до одного перекололи. И наши, по мере движения к Берлину, по мере нарастания численности женщин, попадавших по пути, возвращались на три тысячи лет, к уровню греков, захвативших Трою, где все женщины становились их рабынями. Чтобы немки не сомневались в своем положении троянок, им показывали пистолет, и они покорно отдавались властителям. Были отдельные случаи самоубийств. Были поиски защитников. Например, к майору Череваню, заместителю редактора дивизионной газетки, обратилась рижанка, говорившая по-русски, и попросила спасти киноактрису, спрятавшуюся между прочих женщин в бомбоубежище. Предприимчивый лейтенант там разыскал красавицу, увел с собою, а потом, насытившись, отпустил. Но он по-своему был хорошим товарищем и стал угощать всех своих знакомых. Актрису уводили за день три раза и собирались уводить четвертый раз. У Черевани не было уверенности, что лейтенант, выслушав выговор и обещав оставить актрису в покое, выполнит свое обещание.

Я гулял по району Берлин-Лихтенраде, обойденному войной, и ко мне бросилась женщина с криком: господин лейтенант, мою дочь... То, что я увидел, было совершенно неожиданным. Старший сержант, довольно пьяный, стоял с пистолетом в руке и с лицом, по которому текла кровь. Девушка пустила в ход ногти. Старший

сержант был глубоко возмущен, что она не признает своего долга наложницы победителя, и выражал свое возмущение словами, к которым привык. Выслушав мой приказ, он пошел за мной, по-прежнему держа пистолет в руке и ругая скверную девку, но, я думаю, довольный тем, что я вывел его из неловкого положения. В контрразведке его заперли на ночь, а утром отдали пистолет, и он ушел в часть.

Это исключение из правила, а вот типичный случай, рассказанный писателем Злобиным. Лейтенант встречается утром своего друга и спрашивает: «ты сколько раз сегодня отомстил?» «Два раза!» «А я – три!» Так могли разговаривать два Аякса, только не пользуясь словарем советской военной прессы, говорившей о мести фашистам и т.п.

Из Берлина нас вытурили в Судеты, и я, бродя по судетским холмам, вспоминал «Торжество победителей» Шиллера и пытался свести концы с концами. На уровне героев Гомера все было в порядке, но куда исчезли три тысячелетия? И что осталось от идеологии, с которой я начал войну? Через пару недель хмель победы улегся. Заработал юридический механизм. За немку давали пять лет, за чешку десять. Но как стереть след разгула? Глядя на разглаженную форму с белыми подворотничками, я в иные мгновения чувствовал под ними носорожьей шкуры. Чувство отвращения прочно смешалось с чувством победы. Это прорвалось в моих заявлениях о демобилизации и определило мою судьбу на добрый десяток лет.

Между тем, все шло своим порядком, походным порядком, которым армия шла домой. Шли, шли – и оказались по соседству с Майданеком. Мы знали цифры геноцида, мы читали статьи Гроссмана и решили посмотреть это проклятое место. Я не ждал, что оно меня потрясет. И вдруг я остолбенел перед баракom, до половины набитым детской обувью, слипшейся в ком. Я не вдумывался раньше, что полтора миллиона из шести – дети.

Шесть миллионов смешивались в моей памяти с нашими огромными потерями на войне. На наших глазах стрелковые полки превращались в стрелковые взводы и в стрелковые отделения – и судьба пехотинца мало отличалась от судьбы узника в лагере смерти. Но дети... Эти полтора миллиона детей были черной дырой в памяти и еще одним причастием, дошедшим до глубины сердца. Еще одним причастием несмываемому чужому горю. И не последним.

Опускаю несколько передрыг: Лубянка, Бутырки, лагерь – и амнистия после смерти Сталина. Амнистия теоретически позволяла мне вернуться к преподаванию литературы. Но практически меня взяли только учителем в станице Шкуринской. О прошлом там не говорили, но постепенно оно прорывалось. В 1933 году станица была на черной доске за невыполнение плана хлебозаготовок. Ее оккупировали войска, никого не выпускали и постепенно выхватывали то одного, то другого (кажется, «за саботаж»). Но от этого хлеба в клунях не прибавлялось. Завуч Батраков рассказывал про своего отца, старого коммуниста, директора небольшой фабрички,

мобилизованного на выполнение плана хлебозаготовок. В первом же доме, к которому он подошел, хозяйина уже не было, забрали. Хозяйка молча отдала ключи от клуни. В углу лежала кучка кукурузы. Женщина молчала. Пятеро детей, облепивших ее, тоже молчали. Без объяснений ясно было, что до нового урожая едва-едва хватит. Батраков-старший бросил ключи хозяйке под ноги и ушел. Его исключили из партии, сняли с работы. Старик долго болел. Мой собеседник (в то время подросток) как-то стал пересказывать радиопередачу о врагах народа. «Еще неизвестно, кто враги», – прохрипел умирающий.

Про Украину в Москве больше знали, у многих там были родственники. Про Кубань знали меньше и совсем мало – про Казахстан. Только в шестидесятые годы я услышал тамошнюю статистику вымерших с голоду, цифра была семизначная.

Прошло несколько волн событий, открылись пути на Запад, и в Швейцарии до меня дошло еще одно чужое горе. Я знал о нем по Маяковскому: «солдат полковника сбивает с мостков...» Так эвакуировалась белая армия из Крыма. Но в Швейцарии мы подружались с Людмилой Владимировной Сухотиной, прожившей эту трагедию, еще не раскрыв глаз. Несколько раз она говорила, «я родилась на рейде Севастополя»... Отец ее, полковник Сухотин, втолкнул на палубу свою молоденькую беременную жену. На палубе она разродилась. Младенца завернули в какие-то грязные тряпки, матросы чуть не выбросили их за борт. Через полгода молодая мать умерла, не

выдержала жизни, в которую судьба занесла. Ребенка подобрала бабушка, но вскоре и та умерла. Девочку взяли в приют, она забыла первые русские слова, но через несколько лет ее нашла прабабушка и заново учила русским молитвам.

Людмила Владимировна уверенно делила приехавших из советской России на русских и советских. Русские были те, в ком она улавливала дух русской культуры, а советские – кто старое впитал клочками, цитатами в советском контексте. Стихи Зинаиды Миркиной слушала со слезами, и мы как-то сразу подружились, несмотря на то, что приехали из разных миров. Каждый раз, вглядываясь в подаренный ею пейзаж (она хорошо рисовала), я испытываю волну сочувствия. И к ней, и ко всей этой человеческой волне, выброшенной революцией из России.

Я знал людей, у которых сочувствие своим закрывало душу чужим. У меня этого не было. Я сочувствовал солдату, которого никак не могли повесить на степном перекрестке, и меня потрясла убитая девушка в Восточной Пруссии. В Берлине меня окружали чужие-свои и свои-чужие. В одну из женщин, с которыми мы встречались в Берлин-лихтепраде, я был даже немного влюблен и принес сумку консервов, когда мы уезжали в Судеты. Но почему это сочувствие оказалось таким редким весной 1945 года?

Думая об этом, я возвращаюсь к крошечному эпизоду в октябре 1943 года. Когда я, во хмелю от победы, бросился без оружия брать село Калиновку, втянулся в бой, неожиданно оказался

адресатом комдива (более подходящего адресата связной не нашел) и довольно успешно командовал вторым штурмом, а потом обиделся на штабные условности, вернулся к роли газетчика, снова охмелел, рассказывая, как мы брали село, увлек трех человек переносить КП в село, взятое только наполовину и т.д. и т.п. Этот эпизод, как капля воды, содержит в себе все передраги, происходящие в голове, где хмель борется с разумом и разум с хмелем. И по той же схеме можно понять более крупные события.

Сталин, охмелев от зимних побед 41-42 г., снял с поста начальника штаба, маршала Шапошникова, предлагавшего весной 1942 г. перейти к стратегической обороне. Шапошников был прав: при полном господстве немцев в воздухе и возвращении боеспособности замерзшим танкам попытки продолжать наступление были безумием и немцы это безумие с радостью поощряли и создавали видимость отхода, а потом, когда ловушка достаточно углубилась, захлопнули и ее. Любопытно, что сержант-связист Лесников, воспоминания которого мне передала его дочь, совершенно ясно понимал обстановку и многие другие понимали, что Сталин в своем подземелье на станции Кировская¹ видел только то, что хотел видеть (как и накануне войны он видел только, что немцы не шьют зимнего обмундирования, а следовательно, не думают воевать).

Дальше опьянел Гитлер и не удержался направить свои танки по двум расходящимся направлениям: к Волге и на Кавказ. Мобилизовав

¹ Ныне Чистые пруды.

румын, итальянцев, венгров, испанцев, он растянул фронт на несколько тысяч километров. Он забыл, что даже в 1941 г., при общей катастрофе советских армий, штурм городов оказывался нелегким делом и молниеносные удары не удавались. Оборона Сталинграда, не поддававшегося ни танкам, ни самолетам, дала советскому командованию собрать резервы, а румынские, итальянские и прочие части сделали немецкий фронт Ахиллесом, у которого пятка всюду. И на этих пятках советские ополченцы научились военному мастерству.

Флаг со свастикой, поднятый на Эльбрусе, заставил Эйнштейна раскрыть Рузвельту возможности атомной бомбы. Работы по созданию бомбы заставили Сталина торопиться и двигаться на Запад, не считаясь с потерями, обескровив несколько поколений. И если выход советских войск на Эльбу избавил Европу от атомной смерти, то он же довел до максимума хмель победы и обрушил на Восточную Германию орду, жаждавшую натешиться, насладиться победой.

Перемену армии можно выразить двумя пословицами. Лозунг 1943 г., брошенный в «Вольном слове Фомы Смыслова», был разумным: «немцы нас научат воевать, а мы их отучим»; и действительно, в 1943 был достигнут перелом в войне. Но в 1944 г. разумный тон исчез, его заменил безумный, хмельной, залихватский: «русские прусских всегда бивали, наши войска в Берлине бивали...» Что бивали в Берлине – да, бивали, в XVIII в., и вели себя прилично, а все остальное – бред, разгул воображения, будивший

безумие в офицерах и солдатах, толкавшее их поведение назад на три тысячи лет. И три тысячи лет цивилизации были смыты вместе с окопной грязью. Бродя по судетским холмам, я пытался понять добродушного сержанта, показавшего немке пистолет и очень возмущившегося, когда она стала царапать ему лицо.

В эти дни насилие и грабеж были нормой, за них никого не наказывали. Этим хвастались. Завелась игра – меняться ограбленными часами, ручными и карманными. Фрау Рут, у которой мы стали на постой, говорила мне, что немцы больше не будут производить часов менее двух метров в высоту (такие часы только и остались у нее). Понимая по-немецки, я вынужден был слушать ее остроты и не знал, что на них ответить. Чужое горе стало для меня своим стыдом.

В городе Форст, с которого Конев повернул нас на Берлин, я застал, среди бела дня, старушку, лежавшую в постели. «Вы больны? – спросил я ее. «Семеро солдат», – сказала она с кривой улыбкой, – «и на прощанье воткнули бутылку, горлышком внутрь. Мне трудно ходить». Это дикий единичный случай, – подумал я. – Все на войне бывает. Но Берлин... Только в Берлине, в заранее воспетом конце войны, хмель победы вырвался на полную волю и растоптал и разум и совесть. Это не было победой антигитлеровской коалиции, победой над фашизмом, победой над злом. Это было реинкарнацией зла, победой в духе Сталина, укравшего у народа его подвиг, победой изуверской пропаганды, охмурившей не только малограмотных солдат, но и полковника,

начальника артиллерии нашей дивизии, наводившего порядок в коллективном изнасиловании одной немки².

Немцы, с которых мы сбили хмель, укрепили свой разум и ушли вперед, а наша пиррова победа мстит до сих пор за себя, превращая хмель в хроническую национальную болезнь. И, видимо, лечение от нее будет долгим и тяжелым. Я хотел бы кончить откликом Зинаиды Миркиной на одно из первых побоищ перестройки:

Ну что же, раз пришло, то заходи.
Огромное, косматое. Лихое.
Мне надо уместить тебя в груди
Со всем твоим звериным, диким воем.
Чудовищное горе. Время игр
Давно прошло. Померкли небылицы.
В мой дом ворвался разъяренный тигр,
И с этим тигром я должна ужиться.
Выталкивать нельзя. Иначе съест
И ближнего и дальнего соседа, –
Всех, кто беспечно лепится окрест
И ничего о нем не хочет ведать.
Не вытолкнуть. Но и не продохнуть.
О, если бы судьба сняла излишки!
Что значит всё вмещающая грудь
Придется мне узнать не понаслышке.

² Начальник политотдела, подполковник Товмасын, завел на полковника партийное дело; но политотдел армии приказал дело прекратить и бумаги сжечь, а полковника перевели в другую дивизию.

3. Миркина

Чужое горе

Григорий Соломонович говорил о победе, которая может победить самого победителя, превратить его из защитника, рыцаря добра, в палача. Победа человека над человеком не должна переходить некой черты. Христос отказался от победы над своими мучителями, оставив нам поразительные слова: «Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят». В Евангелии есть две как бы противоречащие друг другу фразы: «Взявший меч от меча и погибнет» и «Не мир, но меч». Но речь во втором случае идет о другой битве и о другой победе – не над злыми, а над Злом, не над грешниками, а над грехом.

Бывают случаи, когда зло так слилось со своим носителем, что их невозможно разделить. Битва с фашизмом была необходима. Но боец, защищающий мир от зла, много раз заразился злом. Как избежать этого?

Святой негр из фильма «Зеленая миля» вдыхает в садиста полицейского всю негативную энергию, которую он как бы вынул, выкачал, спасая умирающую женщину. При этом ни единой капли злорадства, довольства победой над этим выродком, никакой ненависти – только огромная боль за то, что человек безнадежен. Боль такая, как будто он оторвал кусок собственного тела. Для святого всякая чужая боль – своя боль. Но если она неизлечима, приходится отрубать больной

член.

Это чувство чужой боли, как своей, свойственно не только святым. Однажды пятилетняя девочка сказала мне: «Если я вижу ранку – у животного или человека – всё равно – это моя ранка. Если кому-нибудь больно, это мне больно». Слова эти пронзили меня в свое время. Но девочка выросла, и слова эти забыла. Однако, хоть и редко, но есть люди, в которых подобные чувства вырастают вместе с ними.

В буддийской притче, очень любимой мной и много раз пересказанной, Будда вырезает кусок своего тела и кладет на весы, чтобы уравновесить маленькую голубку, за которой гонится тигрица. Но голубка перевешивает все куски. Это длится до тех пор, пока сам Будда, весь Будда не становится на весы.

Как же быть? Можно ли за каждого другого (чужого) отдавать всего себя? М.Цветаева так кончила одно свое стихотворение:

Смотрю на след ножовый –
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: Пить!

А, может и не заживет след и погибнет человек, как князь Мышкин, который не мог не откликнуться на чужую боль и себя мог отдать за каждого?

Отдал Себя и Христос. Но аналогия здесь не полная и в это надо вглядываться пристальнее (что мы потом и постараемся сделать).

Князь Мышкин по-моему уникальный образ

святого в светской литературе. Было немало литературных героев бесконечно добрых, жертвенных, светлых. Но святой – это другое. Святой это человек, дошедший до источника Света; человек, который светится и светит всем. Человек, который зачерпнул живой воды из источника жизни и которому ничего не надо для счастья извне. Он все имеет внутри. «Ich habe genug». Так называется и так начинается одна из кантат Баха, где человек, уходящий из мира, изливает в мир весь собранный в душе свет. «У меня всего достаточно. Мне больше не нужно».

Так нищий, приехавший с узелком из Швейцарии, больной юноша, поражает всех здоровых и богатых своим умением быть счастливым, способностью светиться, точно в нем и впрямь источник света. Он соединился с ним, подключился к нему.

– Вы что, влюблены были? – спрашивает князя одна из Епанчиных.

– Нет, я по-другому был счастлив.

Он был един с миром, с его красотой. Он просто переливал эту красоту в душу, отдавался Ей и Она отдавалась ему. Он был открыт каждой душе. И, конечно, был естественным рыцарем всех обиженных. Так переломил он жестокость детей, которые из гонителей несчастной Мари превратились в ее защитников.

Так он думал повернуть и души людей в России. Однако приехал он не к детям. Не дети окружали его, а взрослые с упрямым, почти окаменевшим эго. Что делать в таком случае?

Сейчас (во всяком случае несколько лет тому

назад) была тенденция развенчивать князя. Он превращался в отрицательного героя, который делал все не так и плодил вокруг себя одни несчастья. Да, если смотреть по результатам дел, то так оно и есть. Но есть другие мерки и другой взгляд. И Христос был побежденным, поруганным и оплеванным. Однако, дай Бог, вырастить то, что Он заронил нам в души. Повторю – князь едва ли не единственный образ святого в светской литературе. И вот вопрос: как святому принести в мир свой свет?

Он не может не откликнуться на чужую боль. Каждая боль – его собственная. И когда Настасья Филипповна спрашивает его – счастлив ли он, в ответ раздается: «Нет! Нет! Нет!» Не может он быть счастлив, когда она так несчастна.

Да, боль каждого – его боль. Но ведь счастье его – не его личное счастье. Его счастье может и должно быть счастьем всех. Ведь его делает счастливым не богатство и успех, не обладание любимой красавицей, вообще никакое не обладание, а Дерево, которое он видит. Но ведь это Дерево видят все, а почему-то счастливым это делает его одного.

У него одного нет «эго». Нет скорлупы, отделяющей его от других душ и от самого источника света. Его душа – прозрачная, не заслоняющая света. Поэтому свет виден сквозь него, через него. И те, кто истинно любят его, должны бы смотреть сквозь него на единый для всех свет. Но окружающие его люди, смотрят не сквозь него, а на него.

Более того – они хотят присвоить его,

разорвать его на части (что им и удается в конце концов).

Так чьи желания должен исполнять он? Их бесчисленных эго или своего светящего им всем сердца?

Он растерян. Ему очень трудно. Не раз появляется мысль – уехать обратно в прекрасную Швейцарию. И не может он уехать. Его бесконечно доброе сердце ранено чужим горем, пронзено им. Он не может оставить этих безумных людей; не может бросить на растерзание Настасью Филипповну. Хотя уже ясно понял, что помочь ей тоже не может. Тут ничего нельзя сделать. Тут нужно только быть. Есть такие положения, когда мелькающая горизонталь бесчисленных дел, поступков должна быть пересечена некоей вертикалью неподвижного бытия.

Это – отрешённость. Ее часто смешивают с равнодушием, эгоистическим безразличием. Хотя на самом деле это антонимы. Не может быть эгоизма там, где нет эго. У святого нет эго. Оно пробито насквозь. Он – не только он. Его душа принадлежит всем. Он живет в единстве с миром и потому стал самой любовью, которая излучается из него, как свет из солнца. Да, у него нет эго. Но он окружен сплошным кольцом других «эго». Так вот, теперь надо уметь не отвечать им, не раскармливать их, а напротив, освобождать бессмертные души людей от слепого жадного смертного «эго».

В каждом человеке есть эго и – гораздо глубже – божественная сущность. Отрешенность – это укрепление связи с божественной сущностью и

разрыв с эго – всяким: своим, чужим.

Но для этого нужна большая душевная сила и некоторый опыт. Эго настойчиво, хитро, упрямо. Оно заведет в тупик и того, кому принадлежит, и того, кто хочет спасти, запутавшегося человека.

По сути, само существование человека без эго – это великая помощь запутавшемуся миру. Его ясность, гармония, любовь – некий маяк в темноте. И ничего не надо хотеть от такого маяка, кроме того, чтобы он был.

Князю не нужно от Дерева ничего, кроме его бытия. И если Настасье Филипповне и Аглае ничего не нужно было бы от князя, кроме того, что он есть. Если бы!... Но каждой нужен «мой» князь, как всем людям нужен мой Бог, мое имущество. «Мое», «мое», отталкивающее другого. Если бы князю хватило силы оторваться от этих протянутых рук, присваивающих его!.. Если бы его божественная сущность укрепилась бы сама в себе, тем самым помогая укрепиться и проявиться божественной сущности других людей... Вот для этого нужна отрешенность.

Майстер Экхарт считал отрешенность самой главной добродетелью, ставя ее выше любви. Он говорил, что отрешенность без любви невозможна, а любовь без отрешенности возможна. Отрешенность свободного от эго человека – это великое одиночество, на которое отваживается отшельник. Это одиночество вовсе не противопоставление себя миру людей. Нет! Томас Мертон говорит о таком одиноком отшельнике, что «им движет не горечь или досада, а жалость ко всей вселенной, преданность человечеству. Он

бежит в целительное молчание пустыни, в нищету и безвестность не для того, чтобы проповедовать другим, а для того, чтобы «в себе залечить все раны мира». Это бесконечно емкая фраза. Весь мир в тебе. Все раны мира – твои раны. И залечивая их в себе, ты лечишь мир. Твое бытие становится бытием света (ты дал ему вместиться в себя и расправиться в тебе). Ты несешь людям гармонию. Ты знаешь выход из любого горя, из самого ада. Солнце доносит свет только своим бытием. И все.

Но если человек в темнице? Если у него такое горе, что свет солнца до него не доходит? Если он уже жить не может – мука превзошла меру?..

Тут я приведу пример, который уже приводился в прошлых беседах, Но сейчас без него не обойтись. Это пример самого великого и действенного сочувствия, который я знаю:

К Рамакришне пришел однажды человек, потерявший своего единственного двадцатичетырехлетнего сына. По лицу человека текли слезы. Рамакришна взглянул на него, всплеснул руками и зарыдал. Три дня он рыдал вместе с отцом погибшего. А к концу третьего дня – запел гимн Богу. И отец запел вместе с ним.

Этот рассказ пронзает меня, как ничто другое. Смерть близкого может затмить солнечный свет. Человек тонет в своем горе, как в морской пучине. Так вот, – спасающий не стоит на берегу. Он бросается в эту пучину. Он борется с ней вместе с утопающим. Но он – лучший пловец. Он в своей отрешенности накопил великую душевную силу. Он знает нечто, что глазами увидеть нельзя,

руками потрогать нельзя. Но он это видел и осязал. И соединившись с человеком в его боли, в его безвыходном горе, он ведет доверившуюся ему душу за собой. И в безвыходности находится выход.

Но прежде, чем броситься в пучину горя, надо накопить силы для преодоления пучины. Надо не только хотеть помочь. Надо мочь. Для этого и нужны отрешенность, созерцание, безмолвие.

Что делаю? Да ничего.
Вдыхаю Бога своего.
Пью этот световой настой,
Впиваю сердцем Дух Святой.
О, если б я сказать сумела,
Что в мире нет важнее дела,
Чем это! Если б я смогла
Сказать, как мелки все дела
Без этого! Все наши битвы
Без этой истинной молитвы
Проиграны, хоть гром побед
Сопровождал их сотни лет.
Что делаю? О, Боже мой!
Учусь твоей любви немой
Учусь тебе. О, научи,
Чтобы из глаз текли лучи,
Чтобы из слов струился свет,
Заливший весь позор побед.

...Да, не победа одного над другим, а вмещение внутрь себя целостного духа, охватывающего всех. Безмолвие, в которое погружается Серафим Саровский, продержав много часов Мотовилова в долгом, не определенном внешним сроком

молчании. Он вобрал в себя безымянную творящую силу жизни – Дух Святой. И когда вышел к Мотовилову, он действительно светился и мог показать действие Святого Духа.

И вот о чем еще очень важно сказать: боль бывает не только у божьего творения, боль знает и Бог. И когда наши души делают что-то не то, живут не так, как задумано Богом, это причиняет Ему бесконечную боль.

Мы знаем слишком хорошо о безмерном страдании Богочеловека – человека, начисто лишённого эго. Перед ним стоит задача, представляющаяся нам непосильной.

Дело Его – это мира приятье
 Внутрь себя. Вплоть до муки распятия.
 Мир весь вместить до последней частицы.
 Так, чтобы каждой душе причаститься.
 Так, чтоб не в грезах ума, не в виденьи –
 В сердце своем ощутить воскресенье.

Петр, как известно, предлагал Христу избежать распятия. Что означали слова Христа «Уйди от меня, сатана. Не о небесном думаешь, а о земном»? Что такое небесное? В чем небесная воля? Воля Отца?

Это самое трудное на свете Высшая воля – воля, велящая принять внутрь ВСЁ, ничего не отталкивая, ничего не оставляя вовне. То, что не принято внутрь, оборачивается неумолимой судьбой, всесильным роком. И Бог, Тот, кто внутри, оказывается не всесильным, не всеобъемлющим, не независимым. Он зависит от чего-то внешнего. В античном мире есть

богоравные герои и рок, стирающий их в порошок. Сами античные боги (все языческие боги) подвластны року.

Рок – вовне. И пока ты не взял всё внутрь, как бы могуч ты ни был, ты раб более могущественного господина. Но Христос – ничей не раб. Он – Сын творящего мир Духа. Он абсолютно свободен только потому, что ВСЁ принял внутрь Себя.

Однако цена этой божественной свободы – великая мука, превосходящая все наши представления. И в предчувствии этой муки Иисус впервые попросил своих близких помочь Ему. «Пободрствуйте со мной. Душа моя скорбит смертельно». Так Он говорил. И плакал кровавыми слезами.

«Пободрствуйте». Но они спали. Сил на такое бодрствование у них еще не было. И Христос знал это. Петр не знал меры своих сил и поклялся, что никогда не отступится от Учителя. Но мы знаем, что произошло. И Христос это предсказал: «Прежде, чем пропоет петух, трижды отречешься от меня». Так и случилось. И однако, пришло время Петру очнуться. Сила любви все-таки была в нем больше земного инстинктивного страха. И Христос видел это и простил его. Сама Любовь простила его, потому что она в нем БЫЛА. Она очнулась и вошла в свою силу.

Для того, чтобы помочь Богу, для того, чтобы боль Божья не была для нас чужой болью, нужна великая, не одолимая ничем сила любви. И тогда человеку некуда деться от любви. Он поймет, что теряя ее, себя потеряет, всё потеряет. И любое

страдание покажется ему меньше, чем эта потеря. И он примет любое страдание. И только таким образом дорастет до воскресения. До того Воскресения и жизни вечной, которыми Христос уже является. Зерно этого есть в каждом из нас. Задача наша – вырастить это зерно. Почувствовать Божью боль, как свою собственную. И не спрашивать Его «За что?», а помочь Ему, отдавая Ему всю свою силу, всего себя.

«За что?!» спрашивают с языческого бога, который находится вне нас. Бог, которому учит нас молиться Иисус, находится внутри нас. И самое главное, что сказал нам Христос, это что царствие Божие – внутри нас.

Он сказал это, поставив перед нами бесконечно трудную задачу. Он счел нас достойными этой задачи, открыв нам нашу божественную высоту.